

Мераб Константинович Мамардашвили



БЕСЕДЫ О МЫШЛЕНИИ

I

Эстетикой мышления можно назвать наши беседы в связи с тем, что искусство, как известно, прежде всего - радость, а речь у нас должна идти о радости мышления. По - видимому, не существует ни одного нашего переживания искусства или занятия искусством, которое не было бы связано с особым пронзительно - радостным состоянием человека. Пруст даже как - то заметил, что может быть, критерием истины и таланта в искусстве, в литературе является состояние радости у творца. Состояние творческой радости может быть и у того, кто читает или смотрит. Что это за состояние радости, которое к тому же еще может быть и критерием истины? Можно сказать, что у мышления есть своя эстетика, что мысль безусловно связана с радостью, иногда с единственной радостью человека. Эта радость относится и к мысли, о которой я хочу беседовать с вами, и к мысли, в связи с которой вообще возникает вопрос: "что это значит?", "что это за состояние у человека и зачем оно вообще?".

Иногда или чаще всего нам ничего не остается, кроме того, чтобы получить светлую радость мысли. Можно к ней добавить и другие прилагательные. Например, чаще всего достоинство человека выражается и может выразиться в том, чтобы хотя бы честно мыслить. Мы многое делаем по принуждению, и часто то, что мы делаем, не зависит от нашего героизма или трусости. Но есть одна какая - то точка, в которой мы, вопреки всем силам природы или общества, можем хотя бы думать честно. И я уверен, что каждый из вас, независимо от того, удавалось ли вам быть не просто в состоянии честности, а в состоянии честной мысли, знает особую какую - то вещь, которую человек испытывает, когда загорается неизвестно откуда пришедшая искра,

которую можно назвать Божьей искрой. Существует особое состояние пронзительной, томительной ясности, отрешенности и какой - то ностальгической, острейшей, кручинной или сладко тоскливой ясности. Даже беду в мысли (в том, что я называю мыслью и чего пока мы не знаем), даже эту беду можно воспринять на какой - то звенящей, пронзительной, как ни странно, радостной ноте. Но что может быть радостным в беде? Только то, что ты - мыслишь, г. е. твое сознание твоего сознания. Но можно ли думать, когда тебе больно и испытывать от этого радость? Радоваться можно лишь тому, что в этой боли выступило с пронзительной ясностью. Ты смотришь, опустив руки, и тем не менее никто у тебя не может отнять того, что ты видишь, - если, разумеется, видишь.

Это состояние может испытывать каждый. Во - первых, его трудно разъяснить и объяснить, а во - вторых, оно растворено в других состояниях. Такое состояние может возникать в ситуации неразделенной любви и испытывая его, мы естественно, отождествляем это с любовью, не отделяем одно от другого. Но тем не менее то, о чем я говорю, есть в этом состоянии мысль, а не любовь. Или когда мы с такой же поразительной ясностью может видеть справедливость. Вот, например, мы можем видеть двух сцепившихся врагов, рвущих друг другу глотку и знать, что они братья родные, они же сами этого не знают, они продолжают борьбу, но ТЫ - знаешь, ТЫ - видишь. Выразить этого ты не можешь, так как не можешь свое сознание о том, какова природа действий наблюдаемого человека, навязать другому, если он сам себя не понимает. Он не понимает, что тот, кого он ненавидит, на самом деле его брат. Ты со стороны ясно видишь это положение, а он этого не видит. Трагически на твоих глазах сцепились обстоятельства вражды и ненависти, а ты видишь другой смысл этого с абсолютной ясностью, но недоказуемой. Ни сам себе не можешь доказать, ни этим сцепившимся в борьбе врагам - братьям. И более того, ты не можешь даже им помочь. Но поскольку ты видишь этот другой смысл - их братство, - то в этой способности умственно видеть нота радости все же присутствует. Что бы ни случилось, как бы они друг друга ни терзали, куда бы ни покатился мир, но увиденное знание истинной связи этих людей - их братство и есть то, что ты увидел и это называется мыслью или истиной, - это уже случилось, это необратимо, этого отнять нельзя, это было. И, может быть, именно с такой необратимой исполненностью и связана радость.

Значит радостью может быть такое чувство необратимой исполненности смысла. К этому приложимо слово "эстетика", поскольку последнее обязательно предполагает нечто чувственное. Эстетика неотделима от момента сенсуального, чувственного, даже если это просто слова. Ведь слово имеет свою чувственную материю, оно несет чувственную радость. А краска, цвет? Цвет, хотя и несет смысл, но одновременно радуется и наши чувства. А мысль в этом плане находится в очень особом положении. Для разъяснения его необходимо говорить о совпадении.

Существуют и происходят очень странные совпадения. Об этом мне тоже придется говорить, чтобы у вас не было смущения, не возникало бы никакого комплекса неполноценности перед тем, что тема такая высокая, перед высоким делом мышления или сознания, смущения что вы - де ничтожны, а мысль великих мыслителей велика и вам до нее не достать. Пока я условно назову это коинцидентом, т. е. совпадением. Я хочу выразить здесь простую вещь: если вы что - либо помыслили, это существует даже если кто - то другой уже это говорил. Конечно, трудно определить критерием, что такое помысленное в отличие от непомысленного и пока придется остаться на интуитивном уровне. И это будет темным, пока мы не прокрутимся по всем ответвлениям этой темы. Так вот, если что - то помысленно вами - оно ваше, даже если это совпадает с мыслью другого человека, даже если это совпадет с мыслью великого мыслителя.

Прежде чем дальше говорить о совпадении, я должен заметить, что часто

приходится задумываться, когда встречаешься с рассуждениями определенного рода. Например, с такими: люди очень любят иерархию - что выше, что ниже. Берут бесконечные проблемы: что выше - художественная истина или научная? Искусство или философия? Философия или наука? Чувства или мысль? и т. п. И сформировалось такое образное представление, что в общем - то самая высшая радость и самое высшее состояние человека - это состояние художественное. И это представление незаметно предполагает, что у художника, артиста, писателя всегда есть какая - то особая привилегия. Мне же всегда казалось, что у художника есть нечто, что помогает ему и этой помощью делает (условно конечно, я не пытаюсь устанавливать иерархию) его работу ниже работы мыслителя. Причина этого кроется в представлении, специфическом ощущении удачи или неудачи труда. Когда поэт пытается выразить какое - либо состояние в слове, даже если ему не удается до конца достичь ясности в том, что он испытывал, у него всегда есть промежуточный слой успеха, приносящий ему удовлетворение. Этот слой есть сама непосредственная чувственная материя стиха. Поэтому, если он не добился до конца по каким - то причинам полного успеха в слове мысли, поскольку стихотворение тоже мысль, он мог быть компенсирован успехом в промежуточных слоях, которые всегда присутствуют. Скажем, какая - либо аллитерация, уникально найденная, может искупить неполный успех в сути дела, т. е. в мысли. А тогда мне то прустовское рассуждение о поэтической радости как высшей радости не представляется верным, так как всегда есть вот этот, так сказать, клапан безопасности, выпускающий излишний пар творческой энергии. Напряжение духа, может быть, оказалось не вполне реализованным, но оно тем не менее принесло удовлетворение тем, что в промежуточном слое чувственной конструкции (а стих обязательно чувственная конструкция) есть успех. И можно хоть чему - то обрадоваться, даже тому, что не есть радость мысли. Следовательно, тем самым я уже отличаю радость мысли от какой - то другой радости, от эстетической радости. Вот в состоянии такого думания мне показалось, что я подумал нечто интересное, но оказалось, что люди уже думали так. В думах об этом я встретил эту же мысль у Евгения Баратынского.

Правда, на мой взгляд, он не совсем законно выделяет среди художников в отличие от живописца, скульптора или музыканта, у которых большую роль играет чувственная материя, именно художника слова и объявляет его мыслителем. Стихотворение у него так и называется, оно обращено к художнику слова. И на Баратынского распространяется то мое возражение, которое было обращено к Прусту. Ведь у слова тоже есть материя, а именно о материи идет речь у Баратынского. Стихотворение звучит так:

*Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком
К ним, чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.*

Возможно вас, как и меня, пронзит это словосочетание: ...пред мыслью (тобой), как пред нагим мечом... - но у слова, вопреки Баратынскому, все это еще есть. В случае же мысли никаких прикрас, никакой чувственной материи. Нис rotos, hic saita (здесь радость, здесь прыгай) и никакого промежуточного слоя. Если тебе не удалась мысль, тебе не удалось ничего. Нет ни аллитерации, ни редкой звонкой рифмы, ни удачно найденного и ясно переданного смутного настроения, какое бывает в магии поэзии, которое можно разыграть, даже не вполне пройдя все пути к мысли. А здесь, в этом стихотворении - "мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная", т. е. "бледнеет" красочность земной жизни, ее чувственные оттенки, обеспечивающие сами по себе возможность для самоудовлетворения. Но в нашем

случае, поскольку мы собираемся радоваться мысли, так же как мы радуемся искусству, дана непосредственно сама мысль. Только ведь в радости мысли, в эстетике мысли есть нечто, выделяющее ее из всего другого: "как меч нагой перед тобой", голый меч; или все, или ничего.

Теперь если вернуться к замечанию о пронзительной ясности, то его содержание очень похоже на этот "нагой меч". Могущая быть источником радости пронзительная, сладко тоскливая ясность, при невозможности какого - либо действия, при полной неразрешимости наблюдаемого, возможно именно от того, что ты видишь это в обнаженном, нагом виде. Только вот обнажить это бывает трудно. В юности это состояние обнаженности приходит к нам, как молния, в одно мгновение, и так же быстро, как пришло, уходит. Не всякий научится потом, всей своей жизнью и тренированными мускулами ума расширять это мгновение ясности. Сначала оно даром дается. Но расширить и превратить мгновение в устойчивый источник светлой радости мысли - для этого нужен труд. Не всякий может встать на путь этого труда или просто даже решиться, потому что иногда страшно то, что там выступает в обнаженном виде. И тем труднее для нас обнажить то, перед чем уже нет никаких скидок, никаких компенсаций, никаких извинений, никакого алиби, тем труднее нам объясняться. Ведь мысль в любой данный момент всегда существует, уже дана в виде своих же собственных симулякров. Симулякр - по - латыни означает привидение или двойник, т. е. нечто подобное действительной вещи, но являющееся лишь привидением и заменяющее эту вещь, являющееся ее мертвой имитацией. Это значение переключается и с латинским же словом "симуляторум", которое подчеркивает значение живой игры, что естественно, ибо мертвая имитация живого разыгрывается именно живым, т. е. человеком, и им оживляется.

Pale simulators - бледные симуляторы - тени вещей, которые мы видим. Применительно к нашему случаю - в любой данный момент, когда вы захотите мыслить, всегда эта мысль в виде подобия данной мысли уже существует. По той простой причине, что в любой данный момент в языке есть все слова. Наглядно это можно изобразить так, как если бы я на секунду встал с этого стула, посмотрел в другую сторону, потом повернулся, снопа захотел на свое место, а там уже сижу я. Такой же Я, какой уже помыслен как симулякр, уже мыслится другими в мире, он вокруг меня и вместо меня. Если вы обратите в этом отношении внимание на символ распятия Христа, то он среди многих других содержит и этот смысл. Задумаемся о личности Иисуса Христа. Кто он? Христос - человек, делающий чудеса. А если вы представите, поставите себя на место Христа: у вас есть какое - то живое, ваше собственное состояние, а оно уже существует в неживом виде, в ожидающих глазах окружающих вас людей, - они знают, что вы Христос, человек, творящий чудеса и т. д. Ведь в определенном отношении можно быть распятым и на образе самого себя. И в этом смысле в образе распятия Христа содержится все - таки ирония и насмешливый взгляд в адрес окружающих, поскольку Христос распят на том образе самого себя, каким его видят, каким он должен быть по представлениям верующих христиан.

У кого из нас, - разумеется, не имея в виду такой высокий ранг, - в более скромном виде не было этого ощущения? Еще до того, как мы испытали некое состояние и смогли его выразить и даже пережить, оно уже в виде симулякра существует, как если бы мы должны были пережить именно это, а не что - то другое. Кто из нас не испытывал того страшного недоумения, которое окружает всегда всякую нашу попытку помыслить что - то?! Ведь часто мы с недоумением смотрим на человека, который употребляет те же слова, что и вы хотите употребить, ставит вопросы, которые вы отвергнуть не можете, потому что они составлены вполне логично из имеющихся слов - других слов у нас нет. И при этом мы испытываем смущение: все время думается - ну, не то, что - то не то. А что же это не то? Да

просто, раз существуют слова, то из них можно создать миллион умных вопросов, и известно, что любой может задать столько вопросов, на которые не ответит и миллион мудрецов. Просто потому, что всегда есть все слова, посредством произвольной комбинации которых можно получить симулякр - ответ, тень ответа на любой ваш вопрос. Любое ваше мучение, переживаемое как несомненно очевидное и уникальное для вас и требующее определенного мысленного разрешения, - уже существует в ответах. Или, по - другому, - всегда есть вербальный мир, который сам порождает псевдovoпросы, псевдопроблемы, псевдомысли, и отличить их от истинной мысли невозможно. Возьмем, например, пушкинскую фразу "на свете счастья нет, но есть покой и воля" и зададимся вопросом - возможно ли, когда человек говорит: "Я хочу покоя" или "Я стремлюсь к покою", отличить покой от стремления ленивого человека к покою? Я например, десятки раз попадал в такую ситуацию со словом "покой", особенно в контексте русской культуры, которая в определенной части насыщена довольно сильным комплексом антимещанства. Этот комплекс часто развоплощается в установку пред - убеждения: когда человеку хорошо, это уже по определению плохо, значит он мещанин, т. е. он хочет довольствоваться мещанским. Это можно было бы и далее расшифровывать, но я возвращаю вас к реальной вашей экзистенциальности, к жизненной ситуации. Когда вы общаетесь с этими людьми в жизни, разговариваете с ними, то неужели вы не ощущаете бессилия от невозможности пройти между действительной жизнью и ее симулякром?

Можно произнести и такую фразу: самое большее, чего можно хотеть - это внутренний покой.

Чем отличается этот "внутренний покой" от жажды покоя ленивым человеком или мещанином, успокоившимся на материальном благосостоянии? Как отличать одно от другого и как задавать вопрос? Почему один вопрос умный, а другой - глуп? Само отличие умного от неумного уже было бы актом ума и если вы актом ума отличаете симулякр от ума, то сам акт, вот такое отличие, вы не можете определить. При этом, даже если вам удастся отличить, то определить, дать список критериев, чем отличается одно от другого, вы не в состоянии.

В курсе лекций по метафизике прозы Марселя Пруста мне приходилось уже показывать, что роман Пруста есть запись духовного странствия или мистического путешествия души, странствия души в мире. Еще раз воспользуюсь сходством проводимой тогда аналогии с дантовским путешествием по Аду, где Данте оказывался перед зрелищем знаменитого "чудовища обмана", которое он - то видит ясно, но вдруг чувствует, что описать его невозможно, невозможно другому передать увиденное (видимое) - это уникально, поскольку для другого глаза (или уха) есть обычные слова, уже описывающие это зрелище. И проскочить мимо этих слов невозможно, так как всегда есть все слова и есть только те слова, которые есть. Данте чувствует: если он скажет это слово (а он может сказать только его, ведь других просто не существует), то уже это будет не то, что он видит. И он вдруг восклицает так:

*Мы истину, похожую на ложь,
должны хранить сомкнутыми устами...*

Говоря по - другому, он приходит к ситуации молчания. А я хочу выделить для вас эту ситуацию "истины, похожей на ложь". В то мгновение, когда вы уже почти что сформулировали какую - либо истину, вы вдруг видите, что она похожа на существующую ложь, и если вы ее произнесете, она сольется совпадет с существующей ложью. Приходится молчать.

Теперь посмотрим, что же у нас получилось в продвижении по этой горной тропинке мысли? Первое - чувственных радостей мы лишились; если мы собираемся мыслить, нас не выручат промежуточные успехи. Нагой меч, голый меч

перед нами или "мысль, острый луч! бледнеет мысль земная". Второе - если нам повезет на мысль, то мы оказываемся в мысли вынужденными к молчанию. Ведь в любой данный момент есть все слова, а из слов составлены симулякры, которые вполне похожи на ваше виденье. И вот душа начинает кричать. Душа становится похожей на движения человека, пораженного хореей, болезнью, еще называемой "пляской св. Витта".

Болезнь эта выражается в том, что все члены тела, ноги, руки, все созданное для жеста и движения человека, приходит само по себе в движение, причем движется в определенном порядке, подчиняется определенному ритму. Скажем, рука делает жест, затем вторая рука делает такой же жест, за ней нога и живое человеческое тело превращается в автоматический самодвижущийся механизм. Чтобы передать вам страдания живого человеческого состояния, в данном случае мысли, я расскажу как видел это. Я прилетел из Москвы в Тбилиси, был солнечный день жаркой, пронзительной, настоящей тбилисской осени. Ожидая, пока привезут багаж, я увидел на газоне около павильона старого человека. Он просто стоял на траве. И вдруг он наклонился, прикоснулся правой рукой к левому колену, потом сжал правой левое колено, затем эту руку поднес к носу, как бы положил ее, еще раз наклонился и еще какое - то движение. Затем все началось сначала: снова эта рука касается колена, потом носа и т. д. А представьте себе, что внутри этого механизма живая человеческая душа и она совершает неумолимо все эти движения. Душа совсем этого не желает, это не она, эти движения не движения ее воли. Оказалось - внутри этого механизма, под его скрежетом тоже есть душа. Как же она должна кричать внутри цикла этих вынужденных движений! Припадок длится минут пять, затем проходит, а наступает без предупреждения, может наступить в любое время. А если, например, растянуть цепь этих движений? Тогда можно себе представить, что, может быть, вся наша жизнь - такая пляска св. Витта, а наша живая душа кричит внутри последовательности, совершенно абсурдной, нелепой, вынужденной, произвольной последовательности каких - то ритуальных движений. Ведь движение в хорее имеет ритуальный рисунок; одно следует за другим, рисунок задан и не может быть нарушен. Человек "впадает" в эту пляску и выйти из нее не может.

Но вот вопрос: на то время, пока он "впадает", разве душа перестает существовать? Она же где - то там затаилась, заданная, живое восприятие, живая душа, она где - то существует?! Если мы возьмем эту метафору, растянем ее и предположим, что такое состояние может длиться не пять минут и не выразиться в виде болезни, а быть всю жизнь таким говорением в последовательности, чувствованием в последовательности переживаний, деланием в последовательности дел, то все это - есть своеобразная, экзистенциальная пляска св. Витта. Тогда мы получаем единственное знание: я могу испытывать живое состояние, а в это время место уже занято; я повернулся, а на стуле уже сидит Я; я знаю, что это не я, что место занято и мне некуда деться с моей мыслью.

Оказывается, в области мысли мы тоже испытываем трагическую боль отсутствия себя, впадаем в ситуацию, характерную и для других областей жизни, когда конкретный, налаженный механизм мира заранее вытесняет собою и своей глыбой давит несомненное для меня живое состояние. "Я" несомненно для меня с очевидностью в нем, а ему нет места в реальности. И очень часто именно это есть обычно называемое проблемой самовыражения. Когда человек называет что - то невыразимым, когда он страдает от непонимания других, чаще всего именно этому, ощущаемому изнутри как несомненно живым, нет места в мире действий и выражений (ведь выражения - тоже действия), оно уже занято.

Я хотел двинуть своею рукой в соответствии с живым состоянием или восприятием, а она уже движется в пляске св. Витта.

Теперь пойдем дальше по этой извилистой тропе. Когда обосновывали и

вырабатывали научный взгляд на вещи, создавали объективную картину мира и основанную на ней науку, мыслители в качестве примера, которым мы отличаем научную реальность от кажимостной, видимостной реальности, приводили следующий пример. Одним из актов мышления является сознание, что мысль не властна над реальностью, т. е. отличие самого представления от реальности есть акт мысли. И если бы оказался возможным акт остановки моей рукой движения Луны на ее орбите, то это был бы совершенно мистический акт. Человек не может произвольным движением, диктуемым его мыслью, остановить Луну на ее орбите. Однако по ясно оговоренной этими же мыслителями позиции мистичен не только акт остановки рукой движения Луны на ее орбите, но столь же мистичен и простой акт движения нашей руки. Вдумайтесь - каким образом я могу мыслью приводить в движение руку. Кто это знает, кто это понимает, и кто, если выразаться на псевдонаучном языке, имеет модель этого происшествия? Как вообще материально можно, во - первых, привести в движение и, во - вторых, как можно мыслью координировать столько элементов такого движения? Любой анатом нам скажет, из скольких элементов состоит всякое мускульное сочетание двух мускулов и если бы актом мысли это необходимо было бы все делать, это оказалось бы невозможным. Тем не менее, какой - то духовный приказ (мысль) приводит руку в движение. Это такая же мистика, как если бы кто - то остановил Луну или Солнце.

Этот простой и загадочный пример относится все к тому же живому, которое может быть задавлено каким - то механизмом и искать себе выражение. Пока все в порядке, действия, которые мы не можем совершать чистой логикой, а совершаем каким - то духовным приказом, проходят, совершаются. Все обстоятельства складываются так, что человек действительно желает двигать рукой и двигает ею. Но ведь есть еще и выразительный акт движения руки. И если не все проходит гладко, причем независимо от нас, как в пляске св. Витта, то оказывается, что не все в порядке и руки движутся без всякого выражения. Более того, в любой данный момент выражения мысли, она располагается на N - м числе точек: когда я говорю - слушающие понимают сообщаемое, я понимаю произносимое мною и это просто означает, что мысль одновременно существует и в головах слушающих, и в моей голове. Как это происходит - никто не знает, но то, что это происходит, мы узнаем по акту восприятия друг друга.

Теперь вернемся к тому, что мы зафиксировали: у нас есть какое - то состояние; назовем его условно переживанием. Впоследствии мы будем вести это переживание к состоянию мысли, но пока мы не знаем, что такое мысль. Назовем это просто переживаемым нами состоянием, в котором с очевидностью мы сами живем, в котором мы живы и живые в проживании этого состояния. Кроме того, в нем есть какая - то ситуация, сочетание неких обстоятельств, и мы убедились - этому нашему состоянию (переживанию), с очевидностью нами переживаемому, может и не быть места. Вопрос этот, как стало ясно, не простой. Он связан с какой - то тайной в мироздании. На примере с Луной мы убедились, что не менее таинственно простое движение руки, что может проходить координация, во - первых, многих элементов, слишком многих для нашего ума, во-вторых, несовместимых один с другим, как материя несовместима с духом.

Значит, есть какая-то тайна, располагающаяся в соединении души и тела. Кстати, Декарт в свое время (его часто излишне упрекают в дуализме, которым он как бы разделил мир на две субстанции: мысленную и телесную) предупреждал о возможном существовании, так сказать, третьей субстанции, а именно - союза тела и души, которое само по себе ни откуда не выводимо и ни к чему не сводимо. Декарт в этом предположении исходил из своего понимания субстанции, которое сейчас, в XX веке более ясно и прозрачно. Мне важно указать вам, что субстанцией можно назвать то, что дальше не имеет никакого другого носителя, ни к чему не сводимо и

носитель самого себя. Таковой субстанцией является, например, материя. Можно допустить и существование мысленной субстанции. Но есть еще и субстанция, которой не должно было бы быть, но она есть. Коинциденция, совпадение наших любовных чувств па любовном свидании есть такое таинственное соединение, как движение руки, такая же координация многих элементов, к тому же не имеющая в себе содержание, которое мы мыслью не можем заместить и возместить. Мысль не властна над реальностью и человек не способен в такую координацию включить какой - либо из головы выдуманный элемент. Если повезет, человек может увидеть сцепление подобных обстоятельств в сознании ясности. Однако и это ясное сознание само по себе тоже есть событие в мире, не поддающееся произволу ума.

Мне хочется привести вас к ощущению, что мысль непроизвольна, мысль тоже есть явление, которое мы не можем иметь по своему желанию. Нельзя захотеть и помыслить. Мы можем иметь ее лишь как событие (не мы, не наш голый рассудок рождает мысль) и именно в движении завязываются многие нити так, что вдруг случается. Такие же нити завязываются, когда случается понимание. Понимание нельзя передать, если вы не понимаете до того, как вам что - то говорится; говоримое нельзя передать никакими логическими средствами, никакими средствами общения, если до этой передачи мы с вами не связаны каким - то другим способом. А в этом способе уже как - то все связано, там приходится применять другие понятия и представления.

В таких ситуациях можно говорить: судьба или не судьба. Скажем, излагаешь слушателям, а тебя не понимают и ты произносишь - не судьба. Ты не говоришь, что слушатели не умны, что сам недостаточно хорошо объяснил; нет! и слушатели умны, и есть уверенность в том, как объясняешь. Но... не получается, видишь - не в этом дело и говоришь - не судьба. Значит мысль уже имеет какое - то отношение к судьбе. Более того, фактически, когда мы говорим о мысли, мы говорим о существовании, о бытии. Почему так происходит? Это ясно, скажем, когда мы разбираем положение о мысли, или живом, не уместяющемся внутри пляски св. Витта, но сознаем с очевидностью себя живым, то мы говорим о бытии. Кроме того, очень часто мы оказываемся в таком положении, что с горькой ясностью произносим: это - не жизнь, это - не существование. Мы произносим это из ситуаций нашей жизни, нашего сознания. Мы это утверждаем вслух из позиции человека, находящегося внутри пляски св. Бит - та, который подобен белке внутри механического колеса. Живая белка, если бы могла, глядя на собственное движение, конечно бы, сказала: это - не жизнь, это - не существование. Аналогично и мы о многом, приходя к определенной точке, утверждаем: это - не моя жизнь, не мое существование. Слово "существование" появляется именно там, где возникает живая очевидность чего либо (пока мы называем это мыслью), или живое самоочевидное переживание, которое может быть удачным, совпадать или не совпадать, а может быть и неудачным, неуместным. Мы можем оказаться неуместными именно в том, в чем мы есть Мы, в самом прекрасном и возвышенном, подобно той женщине, которая переживала самое лучшее, искреннее чувство - любовь, и целовала своего мужа, в ту минуту державшего поленья перед камином, поэтому он мог бы только ее возненавидеть.

Этот жест ее (поцелуй) ведь был предельно выразителен в ситуации неуместности. И если вспомнить, что мы уже говорили о выражении, приходится задать недоуменный вопрос: можно ли вообще что - то выразить? что значит выразить справедливость? выразить чувства? Сам вопрос "отвечает" - выражение связано с существованием, с тем, в чем мы есть или не есть. И (сделаем следующий шаг) это существование находится в каком - то срезе реализации или нереализации. Случилось или не случилось - ведь может что - то во мне происходить, но это происходящее как бы не случилось. Не произошла та живая душа человека,

охваченного пляской св. Витта, она не получилась, она должна быть или собирается быть, но не получилась, не реализовалась. А если произошла, если двинул рукой не в приступе хореи, а в осмысленном движении протянул руку за предметом, то это случилось. Все сошлось так, чтобы это случилось, реализовалось. Ведь когда мы взыскуем справедливости, то чаще всего мы имеем дело со своими собственными состояниями, не являющимися тем, чем мы их называем. Они не есть именно по признаку "случилось - не случилось", реализовалось - не реализовалось, получило бытие или нет, о - существовало или нет. Скажем, потуг, порыв честности психологически для нас может быть несомненен, но порыв честности - это одно, а честность - другое. Намерение справедливости есть одно, а справедливость - Другое.

Это Другое, "пришпиленное" к справедливости и честности, обозначим для начала словом более адекватным - искусство, или труд. Тогда честность - не намерение, а труд, и чтобы быть честным, нужно быть искусным, нужно с - уметь быть им. Здесь у нас возникает единственная дорога к мысли, потому что мы вводим отличие, мы отличаем эмпирически переживаемое состояние от действительности. Отличие получается, когда у нас возникает недоверие к эмпирической несомненности каких - то состояний в нас самих. Например, слабый безмускульный человек испытывает желание добра и чтобы оно не обернулось злом, как это обычно бывает, то нужен особый талант и умение, чтобы добро осуществилось, т. е. добро есть искусство. И момент начала мысли состоит уже в том, что человек может сказать себе: эмпирически (в его несомненном переживании) данное добро есть в виде желания, намерения, а реальное добро - это что - то другое.

В историческом ходе выработки философской терминологии такое отличие обозначалось как вещь и "вещь сама по себе"; есть справедливость или добро, существующие в эмпирических фактах и есть добро и справедливость "сами по себе". Это абстрактное понятие идеализма рождается из простого различения: добро отличается от доброго намерения тем, что мы называем добром "самим по себе". Оно связано с целым созвездием терминов: случилось, действительно произошло, реализовалось, прошло (движение прошло или не прошло); оно связано еще с искусством, с искусным деланием чего - либо. Оказывается, недостаточно эмпирически испытывать доброе намерение, но есть еще что - то, связанное с добром. Это "еще что - то" мы уже можем назвать "добро само по себе" и наш шаг к нему назвать шагом мысленным, поскольку нечто мыслится в отличие от того, что эмпирически переживается. Намерение добра может эмпирически пережить любой расхлябанный человек. Трус переживает храбрость или желание быть храбрым. Но "добро само по себе" возникает тогда, когда мы начинаем и объявляем акт недоверия к факту переживания добра.

Иными словами, мы начинаем понимать, что человек - существо, для которого не существует естественного добра, естественной справедливости, естественной честности, такой, которая происходила бы просто сама собой, фактом эмпирического их испытывания или намерения. По данному признаку различаются целые исторические этапы в некоторых культурах и даже некоторые культуры друг от друга. Скажем, в европейской, религиозно - грамотной и отшлифованной культуре эти вещи давно уже отработаны. Собственно говоря, язык религии и нужен для того, чтобы отличить человека, стремящегося к добру, от человека доброго, т. е. отличить добро как психологическое качество (французы в этих случаях говорят *velleite* - потуг добра, психологически достоверный для человека изнутри), отличить от добра. В таких культурах есть отработанный язык, а в таких инфантильных культурах, вроде русской, он может появляться гораздо позднее, требовать больших усилий. Это простое различение в русской литературе, славящейся своей совестью и человечностью, появляется только у Достоевского и появляется мучительно. Это

различение уникально и можно сказать, что русская литература так и прошла мимо Достоевского, его урок не услышала, и сам Достоевский в этом смысле тоже прошел мимо самого себя. "не попал на поезд". Достоевский - мыслитель чаще всего просто систематизатор своего собственного состояния, а Достоевский - писатель, тривиально разыгрывающий эти вещи. как поэт, литературный феномен сам по себе во многом иной. Его известный роман "Униженные и оскорбленные" интерпретировался и воспринимался по критике Белинского, как произведение, выполняющее традиционную человекозащитническую миссию русской литературы, которая всегда была на стороне угнетенных и обиженных. В действительности же (что странным образом оказалось незамеченным многими литературными критиками того времени) в этом романе происходит полное выворачивание такой традиционной русской позиции. В романе наглядно представлено, в какое зло могут превратиться добрые состояния, если они остаются только естественными, т. е. порождаемыми нашим психическим механизмом. Оказывается, что с бедностью не связана никакая привилегия, бедный человек еще не означает человека, наделенного чувством социальной справедливости в силу своей бедности, что за бедностью и нищетой может скрываться большое зло, высокомерие и ненависть к окружающим и даже представлен тип человека, который может наказывать окружающих своей бедностью, несчастностью. Оказывается, желание добра у самых в психологическом смысле несомненно добрых людей порождает вокруг них такое зло, какое отъявленные злодеи не смогли бы создать.

II

В предыдущем рассуждении я попытался указать точки, на которых появляется нечто, называемое мыслью или мышлением. Эти точки окружены различными словами: коинциденция, совпадение, координация, естественное - неестественное, реализованное - нереализованное, случилось - не случилось и др. Употребление этих необычных слов связано с природными, а лучше сказать, с метафизическими невозможностями языка. Эти невозможности существуют и в реальности. При встрече с ними философ обычно добавляет некоторые странные слова. Латиняне употребляли слово "per se", - "как таковой". Этот оттенок "как таковой" трудно уловить. Но когда хотели высказать какую - то трудно уловимую мысль, добавляли "как таковой". И поскольку нам необходимо рассмотреть некоторые метафизические трудности слова, я хотел обратить ваше внимание на "невозможность сказать", или на "слово как таковое".

Если вдуматься, то в каком - то смысле человеческая жизнь как таковая относится к числу невозможных вещей. Когда такое говорится, не отрицается, что она есть. Она есть, но это удивительно, потому что она невозможна; непонятно, каким образом она есть, потому что ее не должно было бы быть. Не может быть. что она есть. Вы представьте себе сколько вещей должно было сойтись вместе, чтобы мы были живы теми частями нашей души, которые жаждут жизни. Скольким частям нашей души должно повезти, чтоб они встретились бы, случайно, каждый раз, именно с тем, что им нужно в данный момент или в данном месте? Это же невозможно. Ведь часто мы в себе убиваем желания и чувства, которые никому не приносят зла, только потому, что у нас нет сил, времени или места, чтобы осуществить и прожить их, убиваем их только за то, что они неуместны. Мы не реализуем их, т. е. мы не живем и оказывается, что жизнь невозможна. Следовательно, в строгом смысле слова "жизнь как таковая" - невозможная вещь, и если она случается, это чудо. Большое чудо.

Вот отсюда и начинается мысль, или философия. Мысль рождается из удивления вещам как таковым, и это называется мыслью. Мысль не есть исчисление; даже

если я написал: "два" и "два", затем подумал: "два плюс два - четыре", то это не мысль. Мысль нельзя подумать, она рождается из душевного потрясения.

К такого же рода невозможностям относится любовь. Трудно привести пример абсолютно бескорыстной любви, и тем не менее она случается, хотя обычно, если это любовь человеческая, к ней примешиваются всегда какие - то другие мотивы. К такому же ряду явлений (скажем, жизнь, я сказал в строгом смысле невозможна, хотя случается и т. д.) относится и сама мысль, чистая мысль. Мысль вырастает из удивления, отметили мы, а удивиться, например, невозможной жизни, что она - таки есть, и думать об этом - есть мысль. В этой мысли отсутствуешь ты, но она, мысль, есть твое состояние, посредством которого ты не прославляешь себя, не украшаешь себя, не компенсируешь в себе какие - нибудь недостатки, не прилепливаешь себе павлиньего хвоста или павлиньего пера, не испытываешь какое - нибудь другое чувство, не наказываешь кого - нибудь другого посредством мысли, не соперничаешь с кем - нибудь посредством мысли и т. д. Посмотрите, сколько в истории мысли таких, где вы отчетливо увидите, что это не мысли, а способы, посредством которых те или иные люди, конкретные люди переживали какие - то в них существовавшие, совершенно независимые и до мысли возникшие состояния души. Просто через мысль канализировалось какое - то заранее задуманное: комплекс переживаний, зависть, гнев, претензии к миру, желание самоутверждения, желание дополнить себя чем - то, компенсироваться.

И тогда вы поймете, что если есть мысль, то она может быть только чистой мыслью, а чистая мысль в человеческих руках - невозможная вещь. Можно привести десятки примеров из истории мысли, и которых ясно читается, что человек мыслит не по содержанию мысли, а по внешнему содержанию, я даже по внешнему механизму этого содержания.

Есть одно прекрасное письмо Платона из его семи знаменитых писем, которые периодически то считались неаутентичными письмами, фальшивками, то потом утверждались как действительно Платоном написанные. В конце концов преобладала точка зрения, что большинство этих писем действительно написаны Платоном и, во всяком случае, действительно доказано, что седьмое. письмо принадлежало Платону. Оно написано Дионисию, тирану Сиракуз. Покровительства Дионисия Платон ожидал в надежде на помощь в построении идеального государства. Взаимоотношения тирана и Платона были довольно сложные, менялись от любви до ненависти; тиран даже пытался продать Платона в рабство. Письмо относится к тому эпизоду, когда до Платона дошли слухи, что Дионисий распространил какие - то политические трактаты, в которых он излагал идеи о государстве, и в этих трактатах ссылался на то, что эти идеи о государстве якобы являются развитием идей Платона о государстве. В письме Платона есть потрясающие и очень знаменательные слова. В этих словах интересны два парадокса метафизики.

И Платон вдруг пишет так: в том, как вы пишете, ясно видно, что это пишет человек, который хочет показать себя как мыслителя и писателя (вспомните, что я говорил перед этим), приобрести славу, а не вспомнить. Потрясающее словосочетание. Никто из вас и никакой читатель не ожидал бы, что в этой строке вдруг выскочит вот это последнее слово.

Я его не употреблял, это слово, когда перечислял вам разные внешние мышлению механизмы, которые заменяют мысль. Но мы уже разбирали, когда мысль может служить украшением, когда человек пользуется мыслью для прославления себя, и, следовательно, не мыслит. И вдруг Платон расшифровывает, что значит "не мыслить". "Не мыслить" означает "не вспоминать"; "мыслить", означает "мыслить, чтобы вспомнить"; т. е. совершать какой - то акт, чтобы "вспомнить". Здесь сталкиваются неожиданные термины, все время выскакивает

слово "вспомнить", что приводит к неожиданности, к сгущению контекста в парадокс. Затем идет второй знаменательный парадокс, имеющий отношение к нашей теме. Платон говорит - у человека, который мыслит для украшения себя мыслью и прославления, а не для того, чтобы попомнить, не может быть ссылок на какие - то якобы писания Платона по одной простой причине: о чем в действительности мыслит Платон, - а идеальное, государство - предмет его мышления, - не может быть ничего написанного. И поэтому ссылаться на написанное об идеальном государстве нельзя, поскольку об этом предмете не может быть ничего написанного. Платон хочет сказать, что о предмете действительной мысли вообще ничего написать нельзя. Выразить письмом мысль нельзя, мысль невыразима.

Так мы снова пришли к невозможности мысли, снова зачислили ее в ряд метафизических невозможностей. Стоит ли заниматься невозможностями, стоит ли проводить столь странную и трудную работу? Но с невозможностями необходимо иметь дело хотя бы потому, что по дороге к невозможному только и можно что - то иметь, что - то разрешить. Пели вы помните, у Ницше обрисован идеал сверхчеловека, который просто невозможен и утопичен. И Ницше знал, что сверхчеловеками мы не станем, но стремясь быть сверхчеловеками, мы станем людьми. Хотя бы поэтому имеет смысл кружиться вокруг невозможного. Это относится и к невозможной любви. Скажем, Данте прекрасно знал о невозможности человеческой любви и реализовывал высшую ее степень, заменив даму Беатриче дамой Философией. То же самое сделал Петрарка. И, когда один из пап предлагал помочь ему в женитьбе на его возлюбленной, он разумно отказался. Он понимал, что неизвестно, кто кого сожжет, и предпочел стихи. Не в том смысле, что он любил стихи, как я сказал. Это очень трудно выразить словами, человеческий язык постоянно подводит нас. Но мы уже знаем, что в каждый данный момент есть все слова и только те слова, какие есть. И мысль выражать невозможно. Например, Кант заметил, что Петрарка просто больше всего любил стихи. Но говоря это, он имел в виду определенный контекст, без которого не понятно, что значит "любить стихи". Вообще, обычно понимается, что любить стихи - это любить писать стихи. Но здесь не об этом идет речь. Можно ли объяснить тот вид целомудрия, который то, что может существовать только в поэтическом виде, боится разрушить соприкосновением со случайностями потока жизни? Это совсем не похоже на страсть человека уединяться в кабинет, закрываться от жизни и писать. Петрарка не был писарь, который любил строчки выводить на бумаге, вместо того, чтобы жить. Его стихи и были для него реальной любовью, более реальной, чем та, другая любовь. Приведенный пример похож на, казалось бы, иные случаи. В Евангелии описываются случаи, традиционно называемые опасными состояниями или опасными мыслями. По поводу одного из них у апостола Павла есть такое выражение: "Не боишься ли ты, что твоя мысль, или ты сам будешь опасен для соседа?"

Представьте себе, что необходимо выразить содержание не соединимых друг с другом вещей. Вот, например, такой грубоватый и страшный вопрос: можно ли, простите меня за прозаизм, спать с огнем? Нельзя, и не потому, что огонь девственник. И огонь "может знать" это и избегать женщин. Кстати, это - одна из причин, почему Христос избегал женщин.

Таким образом, в сегодняшней беседе я начал с одной характеристики невозможной мысли и завершил другой характеристикой невозможной мысли. И поэтому мудрецы ранние говорили: эта мысль - этот человек, т. е. один человек может держать эту мысль, другой - нет. И значит "эта мысль" может быть опасна для другого человека и ее передавать ему нельзя. Значит мысль может быть настолько невозможной, что для нее нужен даже особый носитель, могущий ее держать. Не случайно символом самой мысли является Прометей, огонь, который прикован к

скале богами. Но уже давно люди довольно успешнее приковывают таких опасных носителей к скалам или к крестам, взяв на себя миссию богов. Да и философы уже давно стали осознавать себя носителями опасной мысли. В этом смысле слова философ или мыслитель есть граничное существо, т. е. представитель того, чего нельзя выразить, нельзя написать. Поэтому у нас всегда есть выбор: или не впустить его в нашу страну, или арестовать как шпиона. К тому же он действительно шпион, потому что невыразимое, носителем которого он является, для него есть "неизвестная родина", - как выражался Пруст, - "единственная родина художника", со всеми вытекающими отсюда обязательствами.

Платон дальше интересно говорил, что можно выразить лишь нечто мелькнувшее на какое - то мгновение, несомое атмосферной волной беседы в диалоге. Так, в разговор, не обязательно двоих, оно может как - то возникнуть, как искорка в воздухе, между разговаривающими людьми на какую - то секунду, без преднамерения у того, кто говорит. Обычно мы ведь речь рассматриваем как преднамеренное построение для уже готовой, существующей мысли. Мы как бы одеваем одежду на существующее тело. А тут во время ситуации беседы и какая - то взаимная индукция людей вдруг рождает то необходимое, невозможное выражение. Как считал Платон, только в беседе может что - то быть. И возможно это как - то проясняет тот исторический казус, который произошел с работой Платона. Вы знаете, что Платон - автор прекрасных по форме, художественной форме диалогов, а Аристотель - автор сухих ученых сочинений. Платон не любил писать, любил беседы, а Аристотель любил писать. В околоплатоновских кругах он даже заслужил прозвище "Читатель". Но от Платона, который любил беседы, не сохранилось никаких записей бесед, сохранились только написанные сочинения, которые он не любил. А от Аристотеля, кроме каких - то фрагментов, весь аристотелевский корпус - это все, что им не написано, это все ученические застенографированные записи его уроков.

Этими длинными пассажами и отвлечениями мне хотелось прояснить то, что я должен о невозможности говорить вслух, предполагая, что вы на слух будете это воспринимать. Но пока мы лишены здесь тех компенсаций, видимых промежуточных успехов, смысл которых мы рассматривали в прошлой беседе. Я напому о них вам по - другому, на примере человека, лишённого каких - либо способностей, к каковым я отношу и себя. Скажем, у человека нет ни музыкального слуха, ни способностей к воспроизведению цвета, красок, ни способностей к изображению или подражанию, у него нет никаких одаренностей, которые сами собой в любом человеке фонтанируют и тем самым занимают его силы и время. Ему всегда, так сказать, некуда деться, некуда укрыться. Тогда, если так плохо, если неудача, то именно такая неудача. Все это немного похоже на мысль. Когда ты остаешься один на один с необходимостью думать, мыслить, когда ты обречен делать невозможное, то тогда ты до конца сумел продумать что - то, или нет. И тогда у тебя ничего нет, и тебя самого нет, потому что у мысли нет никаких промежуточных компенсаций и успехов.

Как - то в 1918 году в короткий период совместного труда, встречаясь в Лондоне, Рассел или Витгенштейн (я не помню кто именно, но это не столь важно) в сердцах сказал, что logic is hell - логика это ад. И я могу вам подтвердить: философия или мысль - это ад.

Декарт в свое время считал, что мышление в том смысле, в каком мы сейчас с вами говорим, есть нечто, чем заниматься возможно четыре часа в месяц, а остальное время делать другие дела. Можно мыслить четыре часа в месяц, но не больше, поскольку это не в человеческих возможностях. Кстати, Платон это же словосочетание несколько в другом виде употреблял. Говоря о промелькнувшей искорке, он подчеркивал, что она может промелькнуть на пределе человечески возможного. С этим связан жуткий труд мысли: все, с чем мы имеем, дело

происходит на пределе человечески возможного, мысль доступна человеку на пределе напряжения всех его сил.

Дальше я хочу повести речь о мыслительной жизни, о мышлении в жизни, о том, как мы находим место в мире и жизни посредством мышления, и о том, каким образом случается само мышление как жизненное событие.

Коль скоро мы установили, что мышление относится к ряду так называемых, метафизических невозможностей, то, естественно, мышление не является само собой разумеющимся событием. Оно может случиться, а может не случиться. Есть какие-то условия, чтобы событие мышления случилось. И в этом смысле событие мышления похоже на события жизни. Так же, как события жизни почти что невозможны, точно так же и события мышления почти что невозможны, но бывают - и это удивительно. Сама эта удивительность тоже вызывает мышление. Мы начинаем мыслить, когда удивляемся. Как это может быть?

Повторяю, вы знаете, что удивление лежит в основе философии. Первые философы удивились, конечно, не в психологическом смысле слова, как мы обычно понимаем. Опять у нас есть те слова, которые есть, в том числе одно и то же слово "удивление", обозначающее совершенно разные вещи. Для нас здесь важно "удивление" тому, чего могло и не быть и должно было бы не быть, но оно есть. Удивительно, когда все в мире построено так, чтобы не было добра, красоты, справедливости и т. д. И тем не менее иногда есть справедливость, честь, добро, есть красота.

Иногда легко понять "удивительность", если осуществить простой акт самонаблюдения. Наверняка каждый из вас испытал в юношестве одно чувство, которое состоит (оно, правда, само по себе есть удивление), в поразительном наблюдении хрупкости. Это ощущение, чаще посещаемое людей в молодости, есть необъяснимое и часто убийственное чувство сознания необъяснимой хрупкости и как бы абсолютной обреченности на гибель всего прекрасного, всего благородного, всего высокого. Удивительно, что все это обязательно гибнет, а все отвратительное живет и процветает; то обречено на процветание, а это на минуту промелькнет и рассеивается, как бы и не было. И конечно, выражение Гете; остановись мгновенье, ты прекрасно! - вовсе не гедонистическое, не сенсуалистическое выражение, как часто понимают. Нет, за этим стоит вот это сознание действительно странной какой-то и непонятной обреченности всего высокого и прекрасного. Оно как бы не держится ни на чем, не на чем ему держаться.

И, собственно говоря, если бы это было не так, то не было бы никакой мысли. Только у существ и только в таком мире, где хрупко и как бы неминуемо обречено все высокое и благородное, есть и возможна мысль, потому что такие существа можно назвать историческими существами. Они являются таковыми, поскольку помещены на некоторой точке, которая находится на какой-то бешено закрученной кривой, окруженной хаосом иррациональным и гибелью. И это - мысли и мысль - есть вопрос о том, на каких условиях и как такая точка может удерживаться на этой кривой, и почему вообще такая кривая существует?

Почему вообще, - здесь я переверну вопрос так: зачем вообще нужно трудиться? Почему не все прямо? Это странный, казалось бы, вопрос. Но вот вы когда-нибудь удивлялись тому, почему не все прямо? Например, я добр, хочу добра. А почему, собственно говоря, его нет? Я чувствую, ощущаю, вижу справедливость. Почему тогда ее нет? Я желаю вам хорошего. Почему же еще нужно потрудиться, чтобы это хорошее случилось, и почему нужно то, что я на прошлой лекции говорил, искусство для этого, искусный труд? Почему история показывает, что хорошие намерения оборачиваются злом, почему не все - прямо? Почему еще нужно трудиться? Почему мир создан таким образом?

Это удивительно. Даже недостаточно иметь, эмпирически иметь, состав

прекрасных чувств, прекрасную душу, даже недостаточно собрать всех прекраснотушных вместе. Оказывается, если их отобрать вместе, получится такая банда скорпионов, что не дай бог. Опыт и факты показывают. Оказывается, для свершения добра, высокого, нужен труд, притом искусный труд. Почему нужен этот труд, почему честь есть искусство? Ведь вы прекрасно знаете, что можно написать роман с самыми лучшими намерениями, назидательный роман, и он будет сеять злой порок в силу того, что он плохо написан. Странно и парадоксально, но хорошо или плохо написанное может иметь самое прямое отношение к добру и злу. И, конечно, вы уже понимаете, что хорошее или плохое написание, труд, искусство, искусность или искусный труд - все это, конечно, как - то связано с тем, что я называю мыслью.

Теперь от "удивления" вернемся к нашему исходному ощущению, к этому нашему недоумению: почему, собственно говоря, все не ладится? Почему мы чувствуем, что все прекрасное так хрупко и как бы заранее обречено на гибель, и так проходят столетия?

Эти вопросы указывают на то, что называемое мыслью, пока еще далеко нерасшифрованное нечто, оно связано с тем, что я параллельно буду расшифровывать как природу и место человека во вселенной. Конечно, нужно расшифровывать и человека, существо загадочное и остающееся загадочным. Даже если не разгадаем эту загадку, то, повозившись с ней, мы кое - что узнаем и поймем.

Вспомним чувство невыразимости, связанное с упоминаемым словосочетанием "неизвестная родина". Если сблизить ЧУВСТВО "неизвестной родины" с ощущением непонятности, непонятной обреченности всего высокого и доблестного, то мы ощутим у себя какую - то ностальгическую отстраненность от того, где мы живем, с кем связаны, от нашей страны, от нашей родины, от нашей географии, от наших нравов и обычаев. За этой ностальгической отстраненностью стоит ощущение и отблеск неизвестный, непонятный, но отблеск чего - то другого. Это и есть первый отблеск мысли. В этой форме впервые является мысль, не имеющая пока никакого содержания, никакого контура, никакого облика, никакого предмета.

Это ощущение свойственно всякому человеку и вообще человеку. Он мог его забыть или закопать, но не быть - оно не могло. Настолько прочно оно находится в конституции человека. И свойственно оно человеку по той простой причине, что люди желают жить, человек хочет жить.

Но жизнь есть нечто такое, о чем никогда нельзя сказать "вот здесь", т. е. точно. Жизнь нельзя назвать, обозначить, локализовать. Про жизнь никогда нельзя сказать конкретно, определенно, потому что жизнь - это всегда что - то еще. Самое жизнь невозможно "схватить" сейчас, в данный момент, поскольку "живое" по определению, по существу своему, если оно живо, оно всегда в следующий момент. Оно как бы расширительно. И вне этого расширения жизни вы не можете ухватить жизнь.

Почти любое другое явление можно ухватить точно, а жизнь - нельзя. Вот вы видите жизнь в точке А, и когда вы определяете ее в точке А, вы определяете так, что она уже в точке В, в следующей точке В, если она жива. Это и значит, что "человек хочет жить". Хотеть жить - это хотеть занимать еще точки пространства и времени, т. е. восполнять себя или дополняться тоже и тем, чего мы сами не можем и чем не обладаем. Скажем, мне кажется, я люблю Нану, существо, наделенное определенными качествами и в силу этих качеств вызвавшее наше движение и наше стремление. Но в действительности наше движение и наше стремление вызвано расширительной силой жизни.

Это одно из пространств, где уместно начать мыслить, т. е. отличать, что и почему ты любишь. Любишь ли ты Нану потому, что у нее голубые глаза, или ты любишь ее потому, что ты расширяешься? И линии судеб будут весьма различны в зависимости

от того, что и как ты поймешь.

Значит пока мы завоевали следующее различие между реальностью и представлением. Нана, любимая мною, потому что у нее голубые глаза и она верх совершенства - это представление, а реальность (причина та, которая скажет свое слово в нашей судьбе и наложит отпечаток на контур наших взаимоотношений) - это нечто Другое.

Слово "другое" уже фигурировало в нашей беседе. Когда я говорил, как нас охватывает ностальгия, как мы ощущаем отстраненность от окружающих нас людей, от родины, от страны, от нравов и обычаев, тогда что - то неизвестное - Другое - манит нас и вызывает в нас тоску. Теперь оказывается, что первоначальной формой "другого" является вот это "абстрактное другое". Не то, которое мы различили уже на втором шаге, а то, которое выступило в первоюношеской, еще невнятной тоске. Эта тоска забудется, она закроется и мы ее вспомним, когда различим, так как нам долго будет казаться, что именно качества Наны являются предметом, вызывающим любовь.

Еще долго мы не будем различать представление и реальность, и мы еще по очень крутой орбите будем возвращаться к первоначальной юношеской тоске, тоске другого мира. Поэтому, собственно говоря, мышление у Платона называется словом "вспомнить". Вспомнить. Оказывается, это другое уже было. Поэтому такого рода вещи закреплены в легендах человечества. Закреплены как воспоминание о золотом рае. Причем, это могло и не быть реально. Ведь с юношей, у которого вот эта первоначальная тоска "другого", это "другое" с ним реально не случилось или могло реально не случиться. И поэтому Пруст (ведь все его путешествие есть путешествие к потерянному раю), в одном месте говорит так: всякий рай есть потерянный рай, рай, которого никогда не было. Это странное, парадоксальное сочетание - ты ищешь рай, которого никогда не было, но ищешь его.

Того "другого" тоже никогда не было, но ты его ищешь. И это реальная сила и реальный предмет воспоминания. Оно необходимо потому, что кроме всего прочего в воспоминании заложено различие, иначе нам не доступное, между реальностью и представлением. Иначе само это различие к нам ни откуда не может придти.

Ни из какой совокупности опыта нельзя вывести различие между реальностью и представлением о ней. Всякая реальность нам дана представлениями о ней. И сама мысль о том, что есть реальность и представление о ней, и одно отлично от другого, ни откуда нами не может быть получено. Но оно откуда - то приходит и платоновское "вспомнить" - один из путей, по которому оно к нам приходит.

Есть и другие пути подобного косвенного взгляда, который может помочь нам различить неразличимое. Обратимся к примеру Анри Пуанкаре. Представим себе, что есть плоскость, на которой живут одноплоскостные существа. Они движутся на этой плоскости и ведут себя таким образом, что меры, посредством которых они измеряют свое движение в какой - то точке X, сами сокращаются по мере их движения. Поскольку эти меры сокращаются, и сами существа сокращаются, то они никогда этой точки не достигнут. Замените эту точку словом "реальность", они тогда к этой реальности не придут. В их представлении это - бесконечность. В одном месте Пуанкаре говорит: "Но одному умному человеку пришла в голову мысль: простите, это же одно измерение, давайте посмотрим сбоку, есть и другие измерения, посмотрим так".

Это иллюстрация к возможности различения реальности и представления. Человек, который смог бы так посмотреть, был бы Коперником, потому что такому взгляду невозможно было появиться. Этот другой взгляд сбоку, чтобы увидеть, что это - плоскость и одномерная линия, невозможен, поскольку ему неоткуда здесь взяться. Здесь даже понятия не может появиться, что есть вот реальность, и что это - конечность, а не бесконечность. И тем не менее Коперники случаются.

Когда начинаешь мыслить, таким путем вводятся философские представления. Потом они сокращаются, все лишние способы введения опускаются, и начинают оперировать уже словами: реальность, представление, конечность, бесконечность - и вы оказываетесь перед текстом, в котором только эти слова и уже ничего понять нельзя.

III

В прошлой беседе у нас фактически были две основные мысли. Во - первых, мы разобрали, что наши эмпирические аффекты, чувства, побуждения мысли, позывы воли, которые все сами, по себе обладают для нас ясностью сознания - все они несамодостаточны.

Так, для храбрости недостаточно сознаваемого эффекта бесстрашия, а нужно еще умение, искусство, труд. Так, честь - не просто намерение чести, а действительная честь. Иметь побуждение чести недостаточно для того, чтобы быть честным или иметь честь. Станным образом нечто называемое одним и тем же словом отличается внутри себя. То же самое относится и к мысли. Одно дело побуждение мысли, намерение мыслить, внешне абсолютно похожее на мысль, - оно оперирует какими - то абстрактными представлениями, возвышенными идеями, - и другое - сама мысль. Но мы можем понимать смутно, что мысль есть что - то другое, чем наше эмпирически для нас самое достоверное состояние; иметь его недостаточно, чтобы иметь мысль.

И, во - вторых, мы прошли узкими путями отличения и двигаясь в отличениях правды, похожей на ложь, мысли, похожей на бессмыслие, и, наоборот, бессмыслия, похожего на мысль, мы уяснили, что "истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами" (Данте). Причем в этом состоянии немолчования с опущенными руками, немой языком и ясным сознанием мы как раз больше всего чувствуем себя живыми и существующими.

Если в действительности вопрос о мышлении, как это ни парадоксально, есть вопрос о существовании, о бытии, то, находясь в состоянии невыразимой мысли, мы оказываемся в состоянии страсти доказательства миру своего существования, мы страстно стремимся доказать, что мы существуем не напрасно по той простой причине, что если бы было иначе, то любой человек, испытывающий чувство любви, был бы лишним и напрасным. Ведь любовь всем давно прекрасно известна, она испытана миллионами людей и зачем заново испытывать ее с той остротой, с какой я (он) испытываю - (ет), какая в этом необходимость. зачем это нужно в мире? Зачем я нужен в мире с той остротой несомненных для меня переживаний? Они для меня являются самым живым, в них я больше всего чувствую себя существующим и именно в этом мир меня отрицает, поскольку в мире давно уже на все есть ответы, всеми испытана уже и любовь, и ненависть, и честь, и бесчестье. А если так, то зачем нужно заново с такой живой остротой все это переживать? И если предметы волнения давно уже разрешены в мире, имеют свои знаки и понятия, то зачем тогда волнение? Это - не понятно и удивительно.

Эта неуместность меня в мире снова обращает вопрос о мышлении в вопрос о бытии. Для того, чтобы прояснить это непонятное и удивительное, нам может помочь встреча с рассуждениями такого метафизического поэта, как Осип Мандельштам. Напомню вам, что Мандельштам был одним из ярких и своеобразных деятелей акмеизма, литературного течения, возникшего примерно в 1912 - 1913 гг. Известно, что греки словом "акмэ" называли период возраста в человеческой жизни, когда проявляется зрелость всего, на что способен данный человек, когда полностью развернулись, расцвели и на вершине своей возможности находятся его силы.

Я сейчас вам не филологическую связку даю, а хочу указать на внутреннюю связь мысли, которая существует в "акмэ" с нашим взглядом на возможность отличия. Тогда то, что побуждение мысли отличается от мысли, потуг чести отличается от чести, можно выразить иначе. Ведь в этих словах фактически обсуждалось различие между взрослостью и невзрослостью, между рожденностью в полноте своей и нерожденностью. Дело в том, что наша жизнь, как социальная, так и ментальная, полна, как сказал: бы Антонен Арто, абортными явлениями, наполнена скрипом абортных, полна столкновениями полуродившихся полусуществ. Есть мысль, есть еще не - мысль, есть человек и еще не - человек, недоумок, недоросток, несовершеннорожденный.

Очевидно, эта вещь настолько значительная, что мудрые греки сочли необходимым придумать целую классификацию, элементом которой является слово "акмэ", обозначающее возраст мужа. И Манделъштам в эпоху, когда на его глазах рушилась культура (а он остро чувствовал, в отличие от многих других русских поэтов, социальные глубинные процессы), ощущая и переживая тот обвал культуры, который происходил в историческом бытии России, говорил, что недостаточно создать хороший идеал эстетического или совершенного человека, что выше его еще идеал совершенного мужчины. Как существующий человек может быть не - родившимся, так совершенный мужчина - это родившийся. Родившийся, это тот, у кого не потуг мысли, а мысль, не потуг чести, а честь, он может мочь, он взрослый, в акмэ.

Осип Манделъштам написал манифест акмеизма, который существует в разных редакциях и известен в одной из них под названием "Утро акмеизма". Здесь он, глубоко ощущая действительную задачу искусства, ее внутреннюю философскую задачу, писал, что философским нервом искусства является его отношение к конечной цели человечества, уяснение, в каком отношении искусство состоит к конечному предназначению человека. Другими словами, философия искусства - это не философия рассуждения об искусстве, а философия в самом искусстве в той мере, в какой искусство строится так, что выполняется и имеется в виду конечное назначение человека или человечества. Условно можно сказать, что конечное назначение человека - это стать человеком, а человечества - стать человечеством. Опять мы возвращаемся к игре слов: взрослый - невзрослый, акмэ и детство, родившийся - не - родившийся. Так вот тот, у кого позы мысли, но не мысль, он - не - родившийся. У кого - позы чести, но не честь, он - не - родившийся. И, следовательно, всякое рассуждение о мышлении или существовании не что иное, как наша попытка понять, что означает феномен родившегося, то, что родилось, а не выкинуто абортным. Это относится и к историческому существованию. Например, есть существующие государства, но о них можно сказать, что это неродившееся. Например, таковы и российская, и грузинская государственность. Здесь важно понять и представить: что мы можем как граждане? Не в том смысле, что мы не можем нечто, запрещенное нам извне, а что мы можем сами, каков горизонт наш, какие точки, по которым мы приходим в волнение или, наоборот, успокаиваемся, что нас приводит в движение, что останавливает, что возможно для человека, а что мы воображаем невозможным? Все это очень различные горизонты. Есть десятки гражданских поступков, деяний, проявлений души, относящихся к гражданскому существованию, которые мы даже не можем вообразить себе как человеческую возможность, не потому что у нас ее отняли, а потому что у нас ее и не было. Да и как вообразить, что человек может нечто, что у него есть некая потенция и если ее отнять, то это будет равносильно его не - бытию, это все равно, что лишить его существования, а существование - это самая большая страсть.

Здесь же в "Утре акмеизма" Манделъштам записал поразительные и странные слова: "Существовать - высшее самолюбие художника". Удивительно, но казалось

бы ясно: если человек пишет стихи, имеет имя, фамилию, то он существует. Но нет, и оказывается можно об этом спрашивать. Можно иметь страсть существовать, т. е. существовать в том, что ты, именно ты - делаешь, существовать в том, что именно ты думаешь, ты - чувствуешь. Ведь чаще всего мы живем чужой жизнью, а не своей, - мы думаем чужие мысли, мы питаемся обрывками или отходами чужих чувств. Вот, где лежат все эти проблемы, о которых я говорил. И если мы будем сопоставлять и соотносить с изначальностью себя, как существа думающего свои мысли, переживающего свои чувства, то, посредством этого, мы постепенно начнем понимать что - то в самих себе.

Здесь же Манделъштам обращается к художникам со странным призывом: "Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя". Если обратить внимание на выбор слов, то нужно провести различие между вещью и существованием вещи. В каком смысле мы можем отличить существование вещи от самой вещи? Существование самого себя от самого себя? И как ценить существование это больше, чем саму вещь и самого себя? Ведь сам - то я и есть мое бытие. Однако, если есть "Я - сам", у которого полумысли, полочувства, без мощи и силы для свершений, тогда, значит, это все - таки "Я", но не существующий. С другой стороны в своем существовании (а это мы установили), когда мы переживаем самое живое, уже есть ответ на то, что нас мучает, но ответ нас не устраивает, и он как бы заменяет нас самих, и мы оказываемся лишними. На моем стуле, как я говорил вам в прошлый раз, уже кто - то сидит. Я отвернулся - и уже я сижу тут. Мне некуда деться, так как существует уже какой - то ответ или есть (как я уже обозначил) симулякр, подобие, тень, отделившееся от самого существования и заменяющее его. Но именно это мы чувствуем. И именно в том, что мы чувствуем себя острее всего живыми, кроется вопрос о бытии.

Обычно по многим причинам я избегаю философских формул, готовых терминов. Но сейчас я употребил существующую формулу, чтоб показать как существующие стандартные и на первый взгляд очень отвлеченные формулы, в действительности связаны с чрезвычайно простыми вещами, имеющими для нас некоторый изначальный жизненный смысл. Он нам доступен и понятен независимо от самой этой формулы, но просто мы не знаем, что этой формулой можно экономно выразить тот жизненный смысл, который мы уже знаем.

Вот мы более или менее очертили страсть существования и отличили ее от просто какого - то эмпирического существования, отличили существование вещи от самой вещи и меня самого от моего существования. В этом различении мы установили, что мысль есть нечто, находящееся в области, необходимо существующей и только существующей. Это несколько переименованная мною традиционная философская формула, известная в том виде, как она дана Парменидом о тождестве бытия и мышления. Он говорил, что нет мысли без сущего, и только в сущем мысль изрекается, сущее и мысль - суть одно. Эта формула известна из учебников по истории философии, но вряд ли она понятна, жизненно понятна без того разбора, который мы только что провели.

Теперь подвесим пока эту трудную формулу и будем раскручивать ее дальше. Я утверждаю (вслед за Парменидом, хотя буквально он этого не говорил), что именно рожденное может и должно быть высказано. То, что высказывается, есть только родившееся (мысль, конечно, высказывается). А вся вакханалия потугов мысли, позывов эмпирических состояний сама по себе недостаточна. Иными словами, все человеческие психологические состояния (в том числе и мысль, взятая, как психологическое состояние) несамодостаточны. Если они существуют, если они родились, то в них есть нечто другое, являющееся их основанием.

Это нечто, "что - то другое" нами уже введено, уже промелькнуло; это - бытие. В отличие от просто эмпирических фактов оно пока нам неизвестно. Оно прежде всего

дано нам в чувстве той отрешенной тоски, которую мы все хоть на миг, хотя когда - то, хоть раз в жизни испытали. Ощущение, что я чужой в мире, что сам мир, который меня не принимает, а он меня не принимает, для меня несомненно. Вместе с чувством несомненного существования мы испытываем свою неуместность в мире. Вряд ли нужно доказывать, что, например, истинное человеческое страдание - лишнее в мире. Страдание по умершим - другу, матери или отцу именно в своей остроте и всепоглощающей силе бессмысленно, так как нельзя сделать бывшее небывшим и нельзя умершего возродить. Нельзя сделать небывшей измену любимой женщины или любимого мужчины. К тому же мы прекрасно знаем, что любовь данной женщины или данного мужчины чистейшая случайность, выпавшая в лотерею, и если бы мы случайно были в другом месте, городе или в другом моменте, мы могли бы любить совершенно другого человека с такой же страстью и, следовательно, наша страсть не имеет никакого основания ни в эмпирических свойствах любимого человека, ни в событиях, которые окружают нашу страсть и нашу любовь. Значит мы переживаем что - то другое.

Теперь вернемся к тому, что в отрешенности у нас есть сознание принадлежности к какой - то другой родине, а здесь мы чужие, представители какого - то неведомого государства, неизвестного, как прустовские художники "граждане неизвестной родины". Прошлый раз я вам говорил, что появление таких граждан у нас есть обычно появление своего рода "шпиона", который о нас свидетельствует перед своей "неизвестной родиной", перед которой он отвечает, о которой он тоскует.

Попробуем один шаг расшифровки этой тоски сделать. Представьте себе: у вас некоторое отрешенное ясное сознание, ностальгия по какому - то потерянному раю, которого никогда не было, и отрешенность от всякого вашего окружения, от места рождения, от людей, вещей, от всяких обстоятельств вашей жизни. Конечно, такого человека очень часто охватывает страх, поскольку он заглядывает в бездну, так как он чувствует, что он принадлежит другой родине, но родине неизвестной, это какая - то пропасть, ясное присутствие тайны. Таинственно и ясно. С легкой руки экзистенциалистов конца XIX и начала XX этому чувству страха придано, наклеено слово *angst* или французское *angoisse* - страх. (Правда, слова "страх" и "трепет", которыми воспользовался Киркегор в свое время для названия одной из своих книг, встречаются просто в одном из посланий святого Павла. Они обозначают и выражают очень древние переживания. Кстати говоря, можно заметить, что в экзистенциализме как таковом ничего нового нет, философия всегда одна и та же, и она всегда была так же экзистенциальна во времена Платона, как и во времена Хайдеггера, и наоборот).

Страх этот очень прост, он связан с теми ощущениями взрос - лости - не - взрослости, рождения - не - рождения, это страх об ак - мэ, страх не стать, не сбыться, не осуществиться. Сущность этого страха заключена в таком ощущении тоски; мы знаем и испытываем, что наши эмпирические, испытываемые состояния недостаточны, сами не могут служить основанием чего - либо и мы знаем, что для осуществления себя нет готового налаженного механизма, который срабатывал бы без моего участия, без того, чтобы я сам прошел бы какой - то путь. С одной стороны, мы подвешены в пустоте над зияющей пропастью неизвестной нам родины, которая нам ближе, чем реальный, но инородный нам мир, а с другой - при необходимости осуществиться, есть полное отсутствие для этого природного, естественного механизма. И философские проблемы, проблемы мысли возникают именно здесь, в этом зазоре.

Можно изучать представления по законам психологии, как они рождаются в человеческой голове. Но если мы узнаем (а мы теперь знаем), что представление о "чем - то" есть в то же время "что - то", в котором разрешаются человеческие пути, то тогда ясно, что вопрос о представлении или восприятии не есть вопрос

позитивной науки. Она на него не может дать ответ, поскольку в так понимаемом представлении все зависит от каждого, от того, что я предпринял, какой путь прошел, что сделал для рождения - себя - в - мысли, в представлении, а не остался недоумком, недоноском.

Страх не сбыться - это вовсе не страх человека перед миром, наполненного, как иногда описывают, классовыми противоречиями и антагонизмами. Человек, который не способен испытать тот страх, о котором я говорил, он вообще не создан для философии, он никогда не сможет совершить акт философствования. Кроме того, в нем самом, в его нормальном человеческом развитии чего - то не хватает; он, если можно так выразиться, никогда не будет мужчиной, совершенным мужем. В данном случае это не половое различие с его ролями и статусом. У такого человека чего - то нет в его собственном становлении, что - то в нем будет вспыхивать и, не дойдя до рождения, это "что - то" будет abortироваться.

Здесь, видимо, требуется небольшое пояснение. Сбыться. стать идентично рождению. Но рождение предполагает органы рождения. Родившаяся мысль или чувство с необходимостью имеют такие органы. Часто ими являются произведения искусства, заключенные в книгах, картинах, музыке. Но последнее не обязательный признак. Органами рождения часто являются и произведения искусства, бродящие в наших душах, произведения искусного труда. Тема искусства и труда важна здесь для понимания сущности таких органов рождения. Человеческое зрение как зрение индивида есть рожденное каким - то органом, и этот орган не анатомический глаз; чтобы видеть - надо уметь видеть, в тебе должно родиться искусство видения. Так же и человеческая любовь рождена органами и разыгрывается в органах, которые не есть наши половые органы, а есть органы души.

Значит, ощущение страха, страсть сбыться и страх не сбыться связаны с некоторым ощущением принадлежности к особым органам рождения и преемственности с ними. Если человек хоть однажды испытал нечто определенным образом, он потом не может этого забыть и не способен от этого отказаться. Если человечество, культура человеческим образом "испытали" нечто, они не могут "забыть" этого как особый "орган рождения", поскольку в них рождаются честь, любовь, красота, храбрость, мужество, т. е. все то, что мы ценим. Они рождаются непрерывно и потому существует какая - то нить преемственности.

Вот эта тоска по преемственности, или иначе называемой мною страх не сбыться очень интересно был прочувствован на рубеже XIX и XX вв. в русской культуре. Я обращаюсь к этой культуре, поскольку происходящие в ней события, хотя и произошли давно, но близки нам по времени. Дело в том, что в действительности реальное время не совпадает со временем хронологическим и то, что кажется нам давно происшедшим в 1920 г. или в 1937 г. - это нечто происходящее сейчас. В реальном времени это все сжато в одной точке (к этому еще придется вернуться в связи с проблемой существования). И в русской культуре этот страх - тоска был прочувствован в очень странной форме, и эта нить преемственности в акмеизме ощутилась как тоска по мировой культуре. Эта тоска по мировой культуре явилась той продуктивной почвой в поэтической практике акмеистов. Однако содержание и сущность ее лучше всего и более точно выразил О. Мандельштам, так как именно у него было достаточно острое метафизическое и историко - философское сознание, которое он представлял своей политической позицией. По Мандельштаму. тоска по мировой культуре - это тоска по тому. к чему мы в действительности принадлежим в тех состояниях, которые мы несомненно ощущаем как истинно человеческие, вполне родившиеся, полные, осуществившиеся, акмэ. Если честь - так это поступок чести. если мысль - так это мысль, способная, поддающаяся развитию и рождающая иные мысли, являющаяся условием других мыслей. И истинное произведение искусства отличается от неистинного тем, что истинное произведение имеет содержание,

рождающее тысячекратно родственные себе мысли в тысячах и миллионах других голов. Эти мысли хотя родились в других головах, принадлежат этому произведению, как бы заложены в нем. Вот если вы что -нибудь подлинно интересное подумаете о Гамлете, даже такое, которого нет в драме Шекспира, то это и есть способ существования произведения "Гамлет, принц Датский" в вашей голове и поэтому это произведение живет дальше. А вы можете осуществить связь с этим местом, где рождается ваша мысль. Эти нити и есть нити мировой культуры. И, конечно, по ним можно было бы так тосковать в 20 - х гг. в советской России, когда именно эти нити рвались. И сейчас они у нас тоже разорваны.

Такие мысленные состояния, которые с нами случаются, в действительности есть наша тоска по лону, в котором мы как люди рождались. Родились мы определенным образом, мог. - и родиться другим, тогда мы были бы другие. Но раз мы родились определенным образом, а родились мы в лоне греко - римской цивилизации, то об этом мы не можем забыть, эти нити тянутся и если прерываются, тогда приходит тоска - страх, которую невозможно в себе отсечь. Если ты один раз видел, если твой глаз видел что - то по - человечески хоть один раз, то он будет все время хотеть это видеть. По законам своей природы человек не может сам нанести себе увечье, произвести над собой членовредительство. Человек не может отменить способ своего рождения, он не может взять и выродиться. Если что - то хоть когда - то испытано каким - то органом - этот орган необратим, человек не может от него отказаться, не может сознательным усилием воли взять и выродиться. Он может выродиться спонтанно и если он выродится, то окажется еще ниже той черты, где этот орган впервые рождался.

Расшифровка этой тоски по мировой культуре предполагает наличие внутренней задачи. Внутренняя задача - это задача памяти; нужно вспомнить, восстановить нити, связующие нас с мировой культурой, т. е. местом, где мы родились. Эту задачу мы будем все время держать в себе, двигаясь дальше в попытке ощутить возможность живого существования. Говоря о нем, я упомянул простой факт, что страх, кроме того видения перед тобой незнаемой бездны, есть страх тебе не стать, не сбыться. И есть исторически несбывшиеся вещи. Например, российский человек в качестве гражданина не сбился за всю свою историю, хотя гражданские состояния, чувства - все это было, бывало в его голове и в социальном пространстве вокруг. Так же грузинская государственность не сбывлась. Их "не - сбывшест" говорит нам, что есть историческое существование, есть исторические образования, и есть образования неисторические, хотя эмпирически они существуют.

Так, Чаадаев еще в XIX в. ставил вопрос о том, является ли Россия историческим образованием? Казалось бы вопрос абсурдный. Ведь Россия существует, есть государство, есть страна и т.д. Однако, с философской позиции удивления, благодаря которой философ способен различать в само собой разумеющемся вещь и ее существование, отличать ценность вещи и ценность существования, - такой вопрос необходим. Ведь Россия и ее историческое существование случились как - то иначе по отношению друг к другу. У государственности России, которая должна была стать, не оказалось естественного механизма, производящего это становление. И у ее государственности, которая не сбывлась, оказались другие особые основания, отличающиеся от эмпирических.

Для дальнейшего продвижения и понимания, что значит мыслить и что значит мыслить не мысля, разберем пример самого ходячего рассуждения, очень часто встречающегося в литературе и беседах в качестве моральных рассуждений.

Рассуждая о сущности добра и зла, часто обращают внимание на наличие у них странных свойств. Так, добро есть нечто, что каждый раз нужно делать специально, а зло делается само собой. И совесть также обладает очень странным свойством: когда я совестлив, как бы "держусь" в своей совести, то я как бы и впервые за всех,

за все человечество совершаю в мире акт совести, хотя он миллионы раз совершался. За всех, так как если сам осуществляю, то я не могу воспользоваться тем, что сделали другие. На чужой совести ничего не сделаешь, совесть все время своя, так же, как и понимание всегда свое, и суммировать понимание людей невозможно, нельзя добавлять понимание и нельзя добавлять, складывать совести.

Порой люди, замечаящие эти свойства добра и зла, мечтают о создании определенного механизма, который делал бы людей добрыми. Скажем, наука могла бы изобрести такое лекарство для людей, способное рождать у человека особое состояние благорасположенности ко всем и вся. И этим естественным механизмом можно было бы отсеять злых людей. Тогда был бы налажен механизм, не требующий моего участия, который без меня, в том числе без риска "страха" и "трепета" и без опасности не стать, отработывал что - то, давал бы продукт, например, социальную гармонию, сообщество друг друга любящих людей. Такие вещи рождались в головах русских народных демократов, и Чернышевский, например, до конца своей жизни воспринимал социальную справедливость как нечто такое, что можно изобрести и раз навсегда засадить людей в этот механизм, который сам по себе производил бы справедливость.

Обратим здесь внимание на одну тонкость и вспомним, что, когда мы рассматривали представление (и восприятие), то различали его как предмет психологической науки и как проблему философии. В качестве различающего элемента было участие каждого в том, каким будет представление: необходимость пройти путь, быть способным на риск, мочь что - то, а не просто желать, быть взрослым, не нуждаться в других наставниках и быть способным производить "Я" из самого себя. Кстати, именно так и определяется просвещение. Кант называл просвещением не существование некой суммы знаний, которая распространяется потом среди людей и тем самым народ просвещается, а совершеннолетие человечества. Парадоксально, но просвещение - это когда человек не нуждается во внешних авторитетах, не нуждается, чтобы его водили за руку, чтобы решали за него, что ему будет полезно или вредно, о чем ему можно сказать, а о чем нельзя, потому что он уж очень расстроится. Так Ж. П. Сартр в пятидесятых годах считал, что нельзя говорить правду о существовании концентрационных лагерей в Советском Союзе, потому что это будет очень обидно для парижского пролетариата, и не надо обижать французских рабочих этой правдой. Он в данном случае был весьма далек от классической позиции просветителя, считая демос каким - то неразумным дитем, которое всю жизнь до конца истории нужно водить за руку, за руку вести его к счастью.

Этот нюанс дает возможность понять смысл, связанного с проблемой мышления, аргумента против утопического "лекарства добра". Дело в том, что состояние благорасположенности, полученное из вне, бесплатно, без труда, не имело бы для человека никакого смысла и значения. Представьте себе: вы принимаете "лекарство добра", в результате его действия в вас что - то произошло. Этому происшедшему, поскольку вас изменил кто - то, а не вы изменили себя, вы не можете придать смысл и значение. И тот, кто осчастливил бы людей таким образом, просто создал бы такие состояния в культуре, которые не имеют никакого смысла, никакой ценности для человека. И главным образом, именно потому, что на этих состояниях не оказалось бы печати человека, его труда и усилия. Человеку ценно только то, что он из себя и на себе, оплачивая собой, может иметь или производить.

Значит, во - первых, не только нет того естественного механизма (вспомним пример с несбывшейся государственностью), но если он даже был бы, то продукты его не имели бы смысла и значения. А, во - вторых, то, что я называл другими основаниями вместо отсутствующего естественного механизма, должно находиться в области смыслов и ценностей человеческой жизни и ее воспроизводства в каком -

то пространстве и времени.

Из всего этого становится ясно, что необходимость рассуждать еще не есть рассуждение, и даже если оно выстраивается, оно должно выполнять определенные правила мышления. Даже о людях, занимающихся изобретением не только социальных лекарств, но и реальных, химических, фармакологических средств, также можно сказать: они не мыслят, так как они нарушают правила мышления о человеке, об обществе, в них нарушены элементарные правила социального и исторического мышления. Они изобретают, думают, рассуждают, но эта интеллектуальная работа не есть рассуждение, не есть мышление. Когда человек рассуждает так: покажите мне добро и я буду тогда добрым, то он не плох сам по себе, но если он способен так думать - он просто еще не мыслит. Такое думанье относится к немышлению. Значит в наших думах и в наших думаний есть что - то, не являющееся мышлением, и нечто, что есть мышление. Удивительно, но немышлением заполнены миллионы книг, оно иногда преобразуется еще в литературу так называемого научно - фантастического жанра, где разыгрываются социальные модели или моральные вопросы. В них вызывает удивление не фантастика содержания, а фантастический способ рассуждения, при котором не выполняются элементарные правила мысли. Например, рассуждают о морали применительно к предметам, которые вообще находятся вне области морали. Скажем, моральный вопрос, решаемый с рассуждением о применении каких - либо медицинских средств, явно не является моральным рассуждением, поскольку в самом рассуждении не участвует и не задет феномен морали, а у феномена морали есть свои законы. Такие, как, например, мир, нецелесообразность морали. Если рассуждать, что можно быть моральным ради пользы, так как люди, по идее Чернышевского, будут заинтересованы быть моральными и не будут заинтересованы быть аморальными, то все эти рассуждения вне сферы морали. В них отсутствует феномен морали, который можно только видеть или не видеть. Причем именно в состоянии ясной отрешенности и если мы испытали страх не стать, есть шанс "увидеть" феномен морали. И в том числе видеть, что мораль вообще не может иметь моральных оснований, она по определению бескорыстна. Если мы вносим какие - то причинные определения, то мы разрушаем феномен морали, так как мы вносим такие определения актом, не являющимся актом мышления. Тогда мы не мыслим.

Тем самым это все означает, что сам человек, как таковой, не есть продукт природы. Человек не рождается человечески естественным образом и человеческое в человеке есть нечто, не имеющее механизма естественного рождения. Более того, нет причины для проявления в индивиде человеческого и никого нельзя вынудить быть человеком. Сам феномен этого человеческого, в том числе и мысли, оказывается у нас вне причинно - следственной области, хотя одновременно и в ней находятся. Значит, человек - это существо, которое одновременно сковано причинно - следственной цепью и в то же время находится где - то в другом месте, когда рождаются в нем какие - то человеческие состояния, для которых нет естественного механизма. Если бы человек рождался естественным образом, или человеческое в человеке могло бы подчиняться, то не существовало бы мысли и философии. Т. е. философия или мысль, сама необходимость нам мыслить существует потому, что мы не рождаемся естественным путем. Следовательно, в каком - то смысле мысль есть необходимый элемент того органа, посредством которого в человеке рождается человеческое. Ведь человек не просто существо прямо ходящее, на двух ногах и т.д., и мы знаем и видим специфически человеческое в человеке, хотя определить его невозможно. Но здесь сейчас мы "схватили", что специфически человеческое рождается на каких - то неестественных, неприродных, немеханических, неавтоматических основаниях, и участником этого рождения является нечто, что мы

называем мыслью.

Теперь от этой формулы сделаем следующий шаг. Мы здесь выяснили: первым актом мысли является не мысль о чем - то, а как бы ее конституирование самой себя. Первым актом мысли является рождение мысли, не о чем - то, а просто рождение мысли. Первый акт мысли - это фактически выделение чего - то, о чем вообще можно мыслить и осмысление мыслить, так сказать, области мысли.

Вы уже, наверное, давно заметили, что я веду рассуждение о мысли по концентрическим кругам, и вам приходится следовать за мной, если вы хотите видеть, как мыслить. Тогда вернемся к примеру Пуанкаре с одноплоскостными существами и вспомним то движение этих существ по плоскости, которых всегда что - то отделяет от цели пути: они по дороге сокращаются и им всегда кажется, что они находятся на бесконечной плоскости. Я напоминаю вам его для того, чтобы облегчить понимание, поскольку мышление я могу, если повезет, в лучшем случае показать и показать, где и как оно, но я не могу его определить и сказать, что оно такое.

Попытаемся понять смысл страдания. Чаще всего мы готовы вечно страдать, лишь бы не страдать. Мы готовы испытывать одно страдание за другим, каждое из которых кажутся нам случайными, и завтра случится что - то другое, и снова случается страдание, но мы готовы страдать, потому что послезавтра еще что - то случится. И мы готовы вечно страдать, лишь бы не заглянуть в неизбывный корень нашего страдания, и даже в такую ситуацию, которую мы сами создаем и в которой все всегда уже слишком поздно. А когда слишком поздно, мы начинаем бегать по кругу. Что это за круг? Это круг, движение по которому похоже на движение того существа по плоскости, для которого не существует реальности. Оказывается, что для человека, который вечно готов страдать, не существует смерти. Разумеется, он знает, что это может случиться. Но ведь, конечно, не завтра, не сейчас. И каждый раз это где - то впереди нас и если случается, то только случайно.

Надежда часто ведет нас по этой линии в бесконечность. Ведь заглянуть в корень страдания означало бы раз и навсегда чему - то научиться, извлечь опыт. "Извлечь опыт" и есть существование чего - то в некотором завершенном плане бытия, т. е. формой. Как вы понимаете, не бывает половины или четверти формы, если есть форма - она полная, форма может быть вся целиком. Это относится и к историческим формам. Скажем, культуру в которой мы живем, трудно назвать историческим образованием, поскольку в своей истории она полна несвершившимися событиями, в ней не происходила последовательность свершений, мы вечно решаем одну и ту же проблему.

Сейчас и наши лучшие режиссеры порой ставят спектакли вроде бы в жанре исторической драмы, но на современные темы. Так, один из таких спектаклей Роберта Стуруа "Пьеса для скрипки", представляет собой образец типичного нашего не - гражданского сознания, где проблемой было не то, что изображал Стуруа, а сам факт, что он изображает это в качестве проблемы. Если мы проблему мысли, свободы слова, других гражданских свобод и установлений воспринимаем на уровне взаимоотношения визиря и его подданных, где визирь приказывает отрубить голову астроному за то, что он увидел звезду, которой не владеет падишах, по определению владеющий всей вселенной, то наше сознание еще не является "ставшим". В XX в. мы еще не родились, наше гражданское сознание еще не родилось. Не решены проблемы, которые давно должны были быть решены, из них раз и навсегда должен был быть извлечен смысл, - он не извлечен в XV в. и до сих пор все извлекается. Тем самым мы устремлены в дурную бесконечность, хотя на самом деле мы живем в конечном мире и нами владеет некая реальность, а увидеть ее мы никак не можем. Это значит, что у нас нет исторической мощи стать, сбыться, выполнить что - то до конца. Грузия, в этом смысле, так же, как и Россия,

оказывается страной дурных повторений и те самые вещи, которые были в XV в., случались в XIX, и мы видим их сейчас. События удивительным образом здесь как бы происходят, но не совершаются и тем более не завершаются.

Кстати, не случайно в мифологии разыгрывается возможность переселения одних индивидов в другие, так называемая полииндивидуальность. На этот миф очень часто ссылаются, но сам миф берут как конечную точку объяснения, обычно указав на какой -нибудь роман как на образец мифологического романа. Тем самым предполагается, что роман объяснен, но на самом деле никакого объяснения нет, если не раскрыт механизм, рождающий мифологические представления. А главное в этом механизме, что душа проходит мимо своего опыта, неспособна его переварить и потому обречена на бесконечные рождения в других ипостасях, в других индивидах, которые будут так же проходить мимо себя. И в спектакле Р. Стурюа изображение содержания дурных повторений не есть мысль, поскольку сам факт их только и должен быть предметом изображения, если режиссер хочет мыслить своим произведением.

Ведь необходимо выделять действительную мысль, которая есть в наличии только когда есть предмет, о котором можно мыслить. Скажем, о страданиях, которые все время откладываются, мыслить нельзя, потому что о них можно только бессмысленно и бесконечно разговаривать. И во всех этих разговорах о страданиях, как случайно случающихся, акт мысли не совершается; они заполнены псевдоактами мысли или ее симулякрами. Такие люди обсуждают: кто счастлив, а кто нет, есть ли законы счастья - несчастья и т. д. Эти бесконечные разговоры часто записываются в литературу, в романы, повести, эссе и даже научные статьи и трактаты. Это их я имел в виду, говоря о миллионах книг, наполненных немышлением.

Ситуация, где видно, кто мыслит и кто думает, что мыслит, хорошо просматривается в греческой легенде о встрече царя Креза и философа, законодателя Солона. Я напомним вам ее.

Однажды Солон попал в присутствие богатого Креза. Тот считал себя человеком счастливым, самым счастливым на земле, поскольку он был самый богатый человек, стоял во главе могущественного государства, и спросил Солона, ожидая уже заранее приятного для себя ответа, что такое, по его мнению, счастье и знает ли он самого счастливого человека. На что Солон ответил: ни о ком нельзя сказать, что он счастлив, пока он жив. Крез обиделся и расстался с Солонем. А затем любимый сын Креза был убит на охоте, государство его разгромили, сам он попал в плен и по одним легендам погиб, а по другим - остался жив на довольно страшных условиях. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, как рассуждал Крез, несчастье случайно, оно есть нечто, что случается со мной вне связи с моей сущностью. Оно случайно, не я его вызвал, оно не вытекает из того, как я живу, что думаю, что делаю. Крез пытался думать о счастье - несчастье, но думая об этом, он фактически не имел предмета, о котором можно и нужно мыслить.

В высказывании Солона, напротив, видно, как он выделяет предмет, о котором можно мыслить. И для того, чтобы о нем мыслить осмысленно, Солон вводит тему смерти, как символ, который очерчивает предмет (счастливый человек) таким образом, что о нем теперь можно мыслить. В свете символа смерти проясняется: если в жизнь принята смерть как ее конститутивный момент, а не случайность, которая с ней случается, тогда о жизненных вещах (событиях) можно мыслить и осмысленно разговаривать. Без этого разговор на такие темы бессмыслен, бесконечен, когда приводятся с разных сторон противоположные аргументы, которые никого не могут убедить и спор уходит в бесконечность, в него могут вовлекаться все новые и новые голоса, которые все будут повторять содержание дурных повторений.

Смерть нельзя рассматривать при осмыслении жизненных вопросов в качестве

внешнего предмета, который не случился, а мог и случиться. Тот, кто так говорит, не совершает акт мысли, потому что для акта мысли ворота открываются, когда ты сам в себя посмотришь, в глубинные основания своего существования и смерти. Нельзя утверждать, что такой человек глуп; можно быть умным и не мыслить, и психологические характеристики, и черты в данном случае не прояснят нам сути дела. А дело заключается в том, что пока такой человек производит акт сравнения внешних предметов, не имеющих к нему отношения и не вовлекает себя самого в акт сравнения - он не мыслит. Он уподобляется тому существу Пуанкаре и будет двигаться в бесконечность до тех пор, пока сам себя не вовлечет в акт сравнения, пока не привнесет нечто из самого себя.

Поэтому случайные страдания - несуществующие страдания, случайная смерть - не существующее. Об этом можно говорить бесконечно, но это будет говорение, а не мышление.

Если же видеть другие существа, что способны мыслить, выделять предмет, о котором можно мыслить, и этот предмет есть реальность, а мыслить можно только о реальности. И мыслить, согласно Пармениду, - значит только существующее необходимо говорить и высказывать.

=====